О Ф. М. Достоевском

Екатерина Павловна Леткова

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

(в замужестве — Султанова) — русская писательница, переводчица, общественная деятельница конца XIX — начала XX века. Свояченица известного художника К. Е. Маковского, родная тетка Сергея Маковского[1].

- Е. П. Леткова-Султанова
  - ○
- comments
  - ○ 1
  - ○ 2
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7
  - ○ 8
  - ○ 9
  - ○ 10
  - ○ 11
  - ○ 12
  - ○ 13
  - ○ 14
  - ○ 15
  - ○ 16

- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26

Е. П. Леткова-Султанова
О Ф. М. Достоевском

Из воспоминаний

Это было в зиму 1878–1879 года, у Я. П. Полонского и его жены Жозефины Антоновны уже были тогда их знаменитые «пятницы» [1], и Яков Петрович как-то сказал мне ласково и внушительно:

— Вы непременно должны быть у нас в эту пятницу… Не пожалеете! На этот раз будет особенно интересно…

* * *

Жили тогда Полонские на углу Николаевской и Звенигородской, окнами на Семеновский плац.

В прихожей меня поразило количество шуб, висевших на вешалке и лежавших горой на сундуке, обилие галош и шапок, и рядом с этим полная тишина, полное отсутствие человеческих голосов.

— А-а!.. Пожалуйте! — приветливым шепотом встретил меня Яков Петрович на пороге первой комнаты. — Пожалуйте!..

Он по-дружески взял меня под локоть, провел через пустую залу с накрытым чайным столом и пропустил во вторую комнату.

Здесь у среднего из трех окон стоял кто-то, а вокруг его сплошной стеной столпились мужчины и нарядные женщины, старые и молодые, и молча слушали. В первую минуту я могла только расслышать глухой, взволнованный голос:

— Холодно!.. Ужасно холодно было!! Это самое главное. Ведь с нас сняли не только шинели, но и сюртуки… А мороз был двадцать градусов…

И вдруг, в промежутке между стоявшими передо мной людьми, я увидела сероватое лицо, сероватую жидкую бороду, недоверчивый, запуганный взгляд и сжатые, точно от зябкости, плечи.

«Да ведь это Достоевский!» — чуть не крикнула я и стала пробираться поближе. Да! Достоевский!.. Но совсем не тот, которого я знала по портретам с гимназической скамьи и о котором на Высших курсах Герье у нас велись такие оживленные

беседы. «Тот» представлялся мне большим, ярким, с — пламенным взглядом, с дерзкими речами. А этот — съежившийся, кроткий и точно виноватый. Я понимала, что передо мной Достоевский, и не верила, не верила, что это он; он — не только великий писатель, но и великий страдалец, отбывший каторгу, наградившую его на всю жизнь страшной болезнью.

Но когда я вслушалась в то, что он рассказывал, я почувствовала сразу, что, конечно, это он, переживший ужасный день 22 декабря 1849 года [2], когда его с другими петрашевцами поставили на эшафот, на Семеновском плацу, для расстрела.

Оказалось, что Яков Петрович Полонский сам подвел Достоевского к окну, выходящему на плац, и спросил:

— Узнаете, Федор Михайлович?

Достоевский заволновался…

— Да!.. Да!.. Еще бы… Как не узнать?..

И он мало-помалу стал рассказывать про то утро, когда к нему, в каземат крепости, кто-то пришел, велел переодеться в свое платье и повез… Куда? Он не знал, как и не знали его товарищи… Все были так уверены, что смертный приговор хотя и состоялся, но был отменен царем, что мысль о казни не приходила в голову. Везли в закрытых каретах, с обледенелыми окнами, неизвестно куда. И вдруг — плац, вот этот самый плац, под окном у которого сейчас стоял Достоевский.

Я не слышала начала рассказа Федора Михайловича, но дальше не проронила ни одного слова.

— Тут сразу все поняли… На эшафоте… Чей-то чужой, громкий голос: «Приговорены к смертной казни расстрелянием»… И какой-то гул кругом, неясный, жуткий гул… Тысячи красных пятен обмороженных человеческих лиц, тысячи пытливых живых глаз… И все волнуются, говорят… Волнуются о чем-то живом. А тут смерть… Не может этого быть! Не может!.. Кому понадобилось так шутить с нами? Царю? Но он помиловал… Ведь это же хуже всякой казни… Особенно эти жадные глаза кругом… Столбы… Кого-то привязывают… И еще мороз… Зуб на зуб не попадал… А внутри бунт!.. Мучительнейший бунт… Не может быть! Не может быть, чтобы я, среди этих тысяч живых, через каких-нибудь пятьдесят минут уже не существовал бы!.. Не укладывалось это в голове, и не в голове, а как-то во всем существе моем.

Он замолчал и вдруг совершенно изменился. Мне показалось, что он никого из нас не видел, не слышал перешептывания; он смотрел куда-то вдаль и точно переживал до мелочей все, что перенес в то страшное морозное утро,

— Не верил, не понимал, пока не увидал креста…

Священник… Мы отказались исповедоваться, но крест поцеловали. Не могли же они шутить даже с крестом!.. Не могли играть такую трагикомедию… Это я совершенно ясно сознавал… Смерть неминуема. Только бы скорее… И вдруг напало полное равнодушие… Да, да, да!! Именно равнодушие. Не жаль жизни и никого не жаль… Все показалось ничтожным перед последней страшной минутой перехода куда-то… в неизвестное, в темноту… Я простился с Алексеем Николаевичем [3], еще с кем-то… Сосед указал мне на телегу, прикрытую рогожей. «Гробы!» — шепнул он мне… Помню, как привязывали к столбам еще двоих… И я, должно быть, уже спокойно смотрел на них… Помню какое-то тупое сознание неизбежности смерти… Именно тупое… И весть о приостановлении казни воспринялась тоже тупо… Не было радости, не было счастья возвращения к жизни… Кругом шумели, кричали… А мне было все равно, — я уже пережил самое страшное. Да, да!! Самое страшное… Несчастный Григорьев [4] сошел с ума… Как остальные уцелели? — Непонятно!.. И даже не простудились… Но… Достоевский умолк. Яков Петрович подошел к нему и ласково сказал:

— Ну, все это было и прошло… А теперь пойдемте к хозяюшке… чайку попить [5].

— Прошло ли? — загадочно сказал Достоевский [6].

Он стал точно восковой: желтовато-бледный, глаза ввалились, губы побелели и страдальчески улыбнулись. И мне ясно представился весь его крестный путь: эта пытка ожидания казни, замена ее каторгой, «мертвый дом» со всеми его ужасами: никогда не снимаемыми кандалами (даже в бане), грязью и вонью камер, с самодурством надзирателей; и все вынес вот этот маленький человек, показавшийся мне вдруг таким большим среди всех нас, окружавших его.

И я забыла про различие направлений и политических идеалов, о которых так много говорилось у нас на Высших курсах среди молодежи, забыла о «Бесах», которых мы все ненавидели. Я сознавала только то, что передо мной стоял Достоевский. Чувство невероятного счастья, того счастья, которое ощущается только в молодости, охватило меня. И мне захотелось броситься на колени и поклониться его страданию…

* * *

Его сейчас же окружили его знакомые, и он добродушно отвечал дамам, усадившим его за стол между собой, и отвечал на их обыкновенные комнатные слова такими же обыкновенными

комнатными словами. Кругом все разом заговорили — о своем, о чужом. Яков Петрович подводил всех к столу, усаживал пить чай и шел встречать новых гостей; Жозефина Антоновна ласково улыбалась подходившим к ней поздороваться и угощала чаем. Точно не случилось ничего необыкновенного…

Я смотрела на Достоевского, и мне казалось, что он стал совсем другим — и похожий и не похожий на того, что стоял у окна, как бывают не похожи два фотографических снимка с одного и того же лица. Он равнодушно отвечал что-то своей соседке и со сдержанной улыбкой передал ей сухари…

* * *

Вскоре после этого был назначен очередной литературный вечер Литературного фонда в б. Кононовском зале. Участвовали, как всегда, литературные корифеи, в том числе и Федор Михайлович Достоевский.

Я пошла не без волнения послушать, как читает Федор Михайлович. И действительно, все мои ожидания не только оправдались, но и превзошли все, что я воображала. Передо мною был опять великий писатель, страдавший в своих писаниях не только за меня, за нас, но и за всех людей. Когда он читал «Пророка», казалось, что Пушкин именно его и видел перед собой, когда писал: «Глаголом жги сердца людей».

Аплодисменты и неистовые крики были такими ненужными и назойливыми после его тихого, внутреннего голоса. Я вышла из залы и наткнулась на П. И. Вейн-берга, всегдашнего устроителя этих вечеров.

— Пойдемте в артистическую, — сказал он. — Там найдете ваших знакомых.

И действительно, я наткнулась прямо на Григоровича и Гончарова, которых встречала часто у моей сестры Ю. П. Маковской.

Достоевский сидел в стороне, один, усталый, раздавленный. Я не решалась подойти к нему, сомневалась, запомнил ли он меня. Но когда он взглянул в мою сторону и я поклонилась ему, он встал, и я подошла к нему. У него была какая-то особая «светская» манера подавать руку, внимательно-сдержанная учтивость и условность тона, какая всегда бывает, когда говоришь с мало знакомым человеком. Мне было совестно, что он, такой утомленный, все-таки встал с кресла, и я сказала:

— Сядьте, пожалуйста, сядьте, Федор Михайлович.

Но он не сел и, точно чтобы только сказать что-нибудь, с

особой любезно-иронической усмешкой проговорил:

— Слышал от Якова Петровича, что вы пописываете…

— Готовлюсь, Федор Михайлович.

— Постом и молитвою? — все с той же иронией сказал он.

— Почти.

Он как-то неожиданно серьезно проговорил:

— Вот это хорошо… Так и надо.

И опять он показался мне «иным». В нем как-то сочетались два разных человека, и потому получались совершенно разные — я бы сказала — противоположные впечатления.

Подошел шумный Григорович и, не считаясь с настроением Достоевского, взял его за руку и сказал:

— Горло промочить, Федор Михайлович…

Увидя меня, он по-приятельски (он был особенно близок с моим зятем К. Е. Маковским, и мы очень часто видались) взял меня под руку и повел к чаю.

В «артистической» был накрыт стол, и за ним сидели участники этого вечера. И меня посадили между ними… Петр Исаевич Вейнберг незадолго перед смертью, — значит, лет через двадцать пять — тридцать, — вспоминая об этом вечере, смеялся над моим тогдашним «восторженным» видом и «ожидающими откровения глазами»…

Это было первое допущение меня в литературную среду, конечно, не в качестве равной среди равных, но уже в качестве своего человека, никого не стесняющего. Я никому не мешала, и мне никто не мешал слушать и запечатлевать все в сердце и в голове.

Заговорили о Балканах, о «братушках», о нашей миссии на Востоке, по поводу известной картины «Скобелев перед войсками», где белый генерал мчится на белом коне перед окаменевшими полками [7]. Достоевский молчал. Турецкая война, воспламенившая вначале даже таких людей, как сотрудники «Отечественных записок», скоро всколыхнула со дна столько мутных осадков и человеконенавистнических инстинктов, что отношение к ней было не только критическим, но прямо враждебным [8].

— Крест на святой Софии?.. — с гневно подчеркнутой иронией кричал Григорович.

Достоевский встал и отошел в сторону.

Позвонил звонок. Антракт был кончен. Началось второе отделение, и все, или почти все, пошли слушать какую-то певицу. Достоевский взял шапку, чтобы незаметно уйти; мне показалось, что я уже никогда в жизни не увижу его, и я смело подошла к нему.

И вот что у меня записано в книжке 1879 года:

«Достоевский сказал: *„Никогда не продавайте своего духа… Никогда не работайте из-под палки… Из-под аванса. Верьте мне… Я всю жизнь страдал от этого, всю жизнь писал торопясь… И сколько муки претерпел… Главное, не начинайте печатать вещь, не дописав ее до конца… До самого конца. Это хуже всего. Это не только самоубийство, но и убийство… Я пережил эти страдания много, много раз… Боишься не представить в срок… Боишься испортить… И наверное испортишь… Я просто доходил до отчаяния… И так почти каждый раз…“*

Помню, как потрясли меня эти слова. Федор Михайлович был особенно нервный в тот вечер. Вероятно, шумный успех, пламенное чтение Пушкина, наконец страшно больной для него вопрос — славянский вопрос [9] — до того взволновали его, что он мог так горячо и искренне говорить с совершенно незнакомой ему девушкой, подошедшей к нему как к другу, как к брату.

Несколько дней после того вечера я ходила как-то особенно взволнованная и решила отправиться на квартиру к Федору Михайловичу. Зачем пойти? — не отдавала себе отчета, но чувствовала потребность еще услышать его.

Случайно у Маковских, в один из этих дней, обедал И. А. Гончаров, и, когда я незаметно свела разговор на Достоевского, он сказал вяло, равнодушно, как всегда, как бы не придавая значения своим словам:

— Молодежь льнет к нему… Считает пророком… А он презирает ее. В каждом студенте видит ненавистного ему социалиста. В каждой курсистке… [10]

Гончаров не договорил. Хотел ли сказать какое-нибудь грубое слово, да вспомнил, что и я курсистка, и вовремя остановился, — не знаю.

Я не пошла к Федору Михайловичу.

* * *

Скоро я уехала домой, в Москву, увозя с собой образ Достоевского — великого писателя, к которому прибавился еще ореол мученика. Я, конечно, знала биографию Достоевского и с этой стороны, но читать про человеческие муки-это одно, а слышать от него самого, вложить, так сказать, персты в раны — это другое. И я решила ничего не говорить о Достоевском на курсах, чтобы не поднимать горячих споров об его ретроградстве, славянофильстве, обо всем том, что ставила ему в упрек тогдашняя молодежь.

Но это было трудно. Достоевский занимал слишком большое место в общественной и политической жизни того времени, чтобы молодежь так или иначе не отзывалась на его слова и приговоры. В студенческих кружках и собраниях постоянно раздавалось имя Достоевского. Каждый номер „Дневника писателя“ давал повод к необузданнейшим спорам. Отношение к так называемому „еврейскому вопросу“ [11], отношение, бывшее для нас своего рода лакмусовой бумажкой на порядочность, — в „Дневнике писателя“ было совершенно неприемлемо и недопустимо: „Жид, жидовщина, жидовское царство, жидовская идея, охватывающая весь мир…“ Все эти слова взрывали молодежь, как искры порох. Достоевскому ставили в вину, что турецкую войну, жестокую и возмутительную, как все войны, он приветствовал с восторгом, „Мы <Россия> — необходимы и неминуемы и для всего восточного христианства, и для всей судьбы будущего православия на земле, для единения его… Россия — предводительница православия, покровительница и охранительница его… Царьград будет наш…“ [12]

Все эти слова принимались известной частью общества с энтузиазмом, — молодежь же отчаянно боролась с обаянием имени Достоевского, с негодованием приводила его проповедь „союза царя с народом своим“, его оправдание войны и высокомерие… „если мы захотим, то нас не победят!!“

Турецкая война с ее сомнительными героями и никому не нужными жестокими геройскими подвигами (вроде Шипки) еще продолжала волновать общественную совесть. Вначале, когда в ней видели народную инициативу и протест против правительства, когда казалось, что она поможет разрешить и наши проклятые вопросы, то есть попросту ускорить взрыв революции, — Балканский вопрос привлекал к себе симпатии и крайней левой части общества: „Отечественные записки“ уделяли ему сочувственное внимание (Елисеев, Михайловский), а такие революционеры, как Степняк-Кравчинский, М. П. Сажин, Д. А. Клеменц и другие, даже принимали участие в добровольческом движении.

А рядом с ними шли сотни, тысячи никудышных людей, тех, кому некуда было деться в современной им действительности, шли и нежелавшие нести какую бы то ни было работу или вояки в душе, жаждущие кровопролития. И они, как известно, так безобразно вели себя, что весною 1877 года сербское правительство в сорок восемь часов выгнало русских „волонтеров“ из пределов Сербии. Взгляды на „восточный вопрос“ мало-помалу передвинулись, и печать как-то незаметно разделилась на два лагеря. Всем было ясно, к которому из них

присоединится Достоевский [13].

В таком настроении застали его знаменитые Пушкинские дни. После долгих серых лет труднейшей работы русских писателей, после мрачного подполья — вдруг явилось какое-то всенародное признание литературы в лице великого Пушкина. Открытие памятника ему стало (может быть, даже и помимо воли устроителей) национально-общественным торжеством и разрослось в настоящее историческое событие.

Молодежь, хотя (уже надо покаяться!) тогда далеко стоявшая от Пушкина, встрепенулась. К тому времени, правда, Писарев уже был забыт, о „печном горшке“ никто уже не говорил [14], но и о Пушкине не говорили. У нас (то есть у поколения 70-х годов) был Некрасов. Пушкина же любили „индивидуально“. Конечно, все его читали, многие его строки входили в ту ненапечатайную „хрестоматию“, которую создает себе каждое новое поколение. Но о нем не было повода говорить, пока не появился памятник на Тверском бульваре. Помню наше возмущение по поводу того, что на одной из сторон цоколя оказалась переделанной строка Пушкина: вместо: „И долго буду тем любезен я народу“ высечено: „И долго буду тем народу я любезен“… [15]

Причина та, что слово „народу“ неизбежно бы притягивало сакраментальное слово „свободу“…

* * *

Помню, с каким восторгом мы распределяли полученные на курсах билеты „На открытие памятника Пушкину“.

Я позволю себе привести здесь отрывки из моей записной книжки 1880 года.

Июньские дни 1880 года в Москве

7 июня. Какой день был вчера? Говорят, утром шел дождь? Не заметила. Кажется, весь день светило солнце, а когда упал покров с Пушкина, оно так и рассыпалось на нас… Вся площадь была унизана плотно-плотно людьми… Мы забрались рано. У нас были прекрасные места: направо от памятника, у церкви, над забором. Всё видели отлично. Пока шла обедня в Страстном, на площади, у памятника, под колыхавшеюся на нем парусиной, шло никогда не виданное торжество. Знамена депутатов, значки цехов и на первом месте „литература“. Какая радость для нас (курсисток) было видеть перед собою живыми таких близких, таких знакомых нам авторов. Что за прелесть эти длинные седые бороды, длинные волосы, оживленные лица, бодрые жесты. Они собрались все

вместе налево у памятника: И. С. Аксаков, С. А. Юрьев, А. Н. Плещеев, А. А. Потехин, А. Н. Островский, Д. В. Григорович, П. И. Вейнберг, Н. Н. Страхов, С. В. Максимов и, наконец, И. С. Тургенев. Вчера был их праздник: праздник русской мысли, русского слова, русского писателя… Все чувствовали это. Слились все возрасты, стерлись сословия… У всех одинаково блестели глаза, и у старых и у молодых, все чувствовали какое-то счастье…

…Когда спала завеса, скрывавшая памятник, у меня дух захватило; я уверена, что у всех также… и, конечно, не от красоты его, а потому, что тот, кем жила в ту минуту многочисленная толпа, появился над ней, среди нее. Кругом кричали, смеялись, плакали…

Тургеневу, когда он садился в коляску на площади, сделали настоящую овацию, точно вся эта толпа безмолвно сговорилась и нарекла его наследником Пушкина. И в университете, куда мы сейчас же отправились на торжественное заседание Общества любителей русской словесности, — опять Иван Сергеевич был центром внимания. Избрание его в почетные члены было встречено с такими радостными кликами, каких, конечно, не слыхали еще стены университета.

…Речь нашего Ключевского — лучше всех. Какое громадное значение придает он Пушкину и, как историку, именно в художественном произведении его „Капитанская дочка“. „История Пугачевского бунта“ — только историческое примечание к ней… XVIII век в России… Русский чувствует себя рожденным не европейцем, а обязанным сделаться европейцем… [16]

…Вечером Благородное собрание. До рассвета… И опять Пушкин сливается с Тургеневым. Мы забрались за колонны, к эстраде, чтобы видеть поближе участников. Прошел, странно съежившись, Ф. М. Достоевский (днем я его не видела), степенно проследовал Островский; прошел Писемский, переваливаясь с ноги на ногу; пролетел Григорович с длинными седыми „баками“, и все скрылись за эстрадой, в круглой комнате…

…Ник. Рубинштейн продирижировал оркестром (увертюра „Русалки“), Самарин — „Скупой рыцарь“ (восхитительно), и опять „они“. Такие старенькие и такие бодрые, живые, трепетные… Достоевский как-то по-особенному прочел монолог Пимена, и прочел прекрасно. Писемский бодро — „Гусара“; Островский — отрывок из „Русалки“, Григорович-„Кирджали“ (немного долго), Потехин — „Полтаву“, Тургенев — „Опять на родине“ [17]. Читал тихо, но было что-то в его чтении, несмотря на старческую шепелявость и слишком высокий голос, завораживающее… Выходил на вызовы семь раз.

Когда мы, человек двенадцать, шли домой, уже светало. И не

устали… Жалели только, что такой день прошел… И, идя по московским переулкам, повторяли? „Довольно! Сокройся! Пора миновалась, земля освежилась, и буря промчалась!!“ [18]

8 июня. Вчера день был мучительно хороший. Не знаю, что и записывать. Речь Достоевского… Маша Шелехова упала в обморок. С Паприцем сделалась истерика. А я слушала и злилась. Ирония, с какой Достоевский говорил об Алеко, мучила. „Мечта о всемирном счастье. Дешевле не возьмет русский скиталец!..“

Что это? Не хотелось верить своим ушам, не хотелось понимать так, как это понимал Достоевский. И не я одна, а очень многие так же реагировали на его слова, как и я. И как-то без уговора перенесли все симпатии на Тургенева. Стоило Достоевскому упомянуть имя Лизы Калитиной (из „Дворянского гнезда“), как о родственном пушкинской Татьяне „типе положительной женской красоты“, — чтобы его речь была прервана шумной овацией Тургеневу. Весь зал встал и загремел рукоплесканиями. Тургенев не хотел принимать этих оваций на себя, и его насильно вывели на край эстрады. Он был бледен и сконфуженно кланялся. Конечно, Лиза не наш идеал, как не идеал и Татьяна с ее „рабским“: „я другому отдана и буду век ему верна…“ Мы преклоняемся перед Еленой [19] с ее жаждой деятельного добра» с ее смелостью и самоотверженной любовью. Она является в русской литературе первой политической деятельницей, которых в России так много, как ни в одной стране, а упоминание о Лизе было для нас просто поводом к выражению Тургеневу нашей солидарности с ним, а не с Достоевским, речь которого была насыщена выпадами против западников, а значит, и против Тургенева. Овации ему вырвались, может быть, и бессознательно, но после заседания, уже совершенно осознанно явилась потребность выразить Ивану Сергеевичу, на чьей стороне мы видим правду, Было решено подать венок Тургеневу,

Вот непосредственное впечатление рядовой курсистки о том «событии», как называли речь Достоевского.

Конечно, это было событие, о котором говорили самые разные люди и которое вспоминают и до сих пор. По внешнему впечатлению кажется, ничто не может встать рядом с тем днем 8 июня 1880 года, когда в громадном зале б. Дворянского собрания, битком набитом интеллигентной публикой, раздался такой рев, что казалось, стены здания рухнут. Все записавшие этот день сходятся на этом. Но, право, не все, далеко не все одинаково восприняли вдохновенно сказанные слова, прозвучавшие в этом зале с такой неслыханной до того времени художественной

мощью. Речь была так сказана, что тот, кто сам не слыхал ее, не сможет объяснить произведенного ею впечатления на большинство публики. Но была и другая часть, вероятно, меньшая, та левая молодежь, которая сразу встала на дыбы от почти первых же слов Достоевского. Отчасти этому содействовало, может быть, то, что Достоевский явился на Пушкинский праздник не как писатель Достоевский, один из славных потомков Пушкина, а как представитель Славянского благотворительного общества [20]. Это, может быть, создало предвзятую точку зрения, так как — повторяю — молодежь в то время непрерывно вела счеты с Достоевским и относилась к нему с неугасаемо критическим отношением после его «патриотических» статей в «Дневнике писателя» [21]. О «Бесах» я уже и не говорю.

Понятно, что, когда Достоевский заговорил о «несчастном скитальце в родной земле», о бездомных скитальцах, которые «продолжают и до сих пор свое скитальчество», некоторые из нас переглянулись между собой. «И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы, — сказал он, — искать у цыган своих мировых идеалов… то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новой верой… что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного, ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться: дешевле он не примирится!!»

Это было сказано с такой тончайшей иронией и вместе с тем с такой непреклонной верой в правоту своих убеждений, что многие, даже среди молодой публики, были настолько захвачены художественным пафосом Достоевского, что не могли сразу разобраться. Но для других — ни вдохновение, с каким говорил Достоевский, ни его растроганный голос, ни бледное, взволнованное лицо не заслонили содержания речи и ее громадного отрицательного значения.

Кроме насмешки над «русским скитальцем», его резкие выпады против западников, проповедь «смиренного» общения с народом и личного совершенствования в христианском духе, рядом с презрительным отношением к общественной нравственности [22], определенно поставили Достоевского вместе с врагами того движения, которое владело в эту эпоху всеми симпатиями молодежи.

Только что перед этим «Московские ведомости» Каткова обличили Тургенева в помощи Бакунину [23]. Достоевский же считался в этом вражеском катковском лагере «своим», принадлежащим к охранителям самодержавия, и все знали, что

его «Дневник» читался в высших бюрократических кругах. Надо было отмежеваться от него, показать, что мы не на его стороне, и как поссорившиеся родители дерутся с детьми, так молодежь стала драться с Достоевским Тургеневым.

Еще до речи Достоевского на Пушкинском празднике уже определилось первое место Тургенева, и у подножья памятника, и в университете, и на всех празднествах, где бы ни появился этот седой гигант, он был первым лицом. Но и на всех литературных собраниях, так распространенных в то время среди молодежи, Достоевскому неизменно противопоставлялся Тургенев и, может быть, преувеличивались преступления против жертвенных стремлений молодежи — одного и раздувалось значение в этом смысле — другого.

Но время было боевое, и молодежь была беспощадна. Все симпатии были направлены в одну сторону… И даже к Пушкину подходили больше с общественно-политической точки зрения.

Понятно, что при таком настроении речь Достоевского только подлила масла в огонь и обострила враждебное отношение к нему молодежи и прогрессивной части печати.

Но разгорелось это не сразу. Нужно было известное время, чтобы, как говорил Глеб Иванович Успенский, «очухаться» от ворожбы Достоевского.

Сам Успенский, для которого социализм был тоже своего рода религией, написал непосредственно после речи Достоевского почти восторженное письмо в «Отечественные записки». Его заворожило то, что впервые публично раздались слова о страдающем скитальце (читай — социалисте), о всемирном, всеобщем, всечеловеческом счастье. И фраза «дешевле он не примирится» прозвучала для него так убедительно, что он не заметил ни иронии, ни дальнейшего призыва: «Смирись, гордый человек!» И только когда он прочел стенограмму речи Достоевского в «Московских ведомостях», он написал второе письмо в «Отечественные записки», уже совершенно в ином тоне. Он увидел в словах Достоевского «умысел другой». «Всечеловек» обратился в былинку, носимую ветром, просто в человека без почвы. Речь Татьяны — проповедь тупого, подневольного и грубого жертвоприношения; слова «всемирное счастье, тоска по нем» потонули в других словах, открывавших Успенскому суть речи Достоевского, а призыв: «Смирись, гордый человек» (в то время как смирение считалось почти преступлением) — зачеркнул все обаяние Достоевского. И это осталось так на всю жизнь. Недаром при первом свидании с В. Г. Короленко Успенский спросил его:

— Вы любите Достоевского?

И на ответ В. Г., что не любит, но перечитывает, Успенский сказал:

— А я не могу… Знаете ли… У меня особенное ощущение… Иногда едешь в поезде… И задремлешь… И вдруг чувствуешь, что господин, сидящий напротив тебя… тянется к тебе рукой… И прямо, прямо за горло хочет схватить… Или что-то сделать над тобой… И не можешь никак двинуться…

И вот это чувство власти Достоевского над ним, с одной стороны, и какая-то суеверная боязнь этого обаяния («И не можешь никак двинуться») осталась у Глеба Ивановича на всю жизнь.

Вспоминаю одну из наших последних бесед с ним по поводу статьи Михайловского о Достоевском [24]. Глеб Иванович уже заболел своей страшной болезнью, но это было почти незаметно. Он очень горячо говорил, вдруг замолчал и, точно поверяя мне какую-то тайну, прошептал;,

— Знаете… он просто черт.

Когда после летних каникул 1880 года мы собрались на первую студенческую вечеринку, где-то в школе у Сухаревой башни, мы почти забыли о Достоевском. Но стоило кому-то принести номер «Дневника писателя» с речью и ответом критикам, чтобы снова загорелся совершенно дикий спор. Достоевский тогда кончал «Карамазовых», дошел до крайних высот своего творчества, а в «Дневнике» являлся настолько чуждым молодым его читателям, что они могли забыть всю его художественную мощь и с пеной у рта кричать о нем как о политическом враге.

Когда кто-то попытался напомнить товарищам о значении Достоевского как великого художника, с его скорбной любовью к человеку и великим состраданием к нему, это вызвало такие резкие споры и пламенные раздоры, что пришлось перевести разговор на страшные переживания Достоевского, на каторгу, перестраданную им.

Кто-то закричал:

— Это все зачеркнуто его же заявлением: Николай Первый должен был так поступить… Если бы не царь, то народ осудил бы петрашевцев! [25]

— Забудьте публицистику… Великий художник… «Преступление и наказание»…

— А «Бесы»?.. пасквиль на Тургенева!! А высмеивание Грановского?! [26] А презрительное отношение к Герцену, к Кавелину!..

Это все были наши боги, и, конечно, для Достоевского не нашлось слов оправдания.

Но если Достоевский не находил созвучного отклика среди известной части читателей, то, с другой стороны, никогда ни один русский писатель не имел такого успеха в так называемом «обществе», как Достоевский в этот последний год его жизни. Неославянофильское направление разливалось все шире и шире; боязнь террористических актов вызывала ненависть к учащейся молодежи, солидаризировавшейся с социалистами; вера в божественную миссию русского народа успокаивала сердца и наполняла их гордостью… Все это находило себе исход в поклонении Достоевскому, и его буквально раздирали на части: ему писали сотни писем, и он считал долгом отвечать; к нему с утра приходили люди, старые и молодые, искать у него ответа на мучившие их вопросы или высказать ему свое преклонение, и он принимал их, всех выслушивал, считал своим долгом не отталкивать никого. По вечерам он бывал на заседаниях самых разнообразных обществ, на журфиксах, на литературных вечерах. А рядом с этим у него шла напряженная работа: он объявил опять подписку на «Дневник» и готовил первый номер к январю 1881 года. Когда он мог работать и как вообще мог жить? Непонятно! К его постоянной болезни присоединилась эмфизема, и он страшно похудел.

Когда я увидела его (в октябре или ноябре 1880 г.), я была поражена его страдальческим видом, может быть, оттого, что обстановка, в которой я встретила его, была необычайно праздничная.

Маркиза Паулуччи, хозяйка дома, где жила сестра моя, давала благотворительный вечер — «с участием известных артистов и Федора Михайловича Достоевского».

Когда мы вошли в ярко освещенную залу, переполненную нарядными дамами и блестящими мундирами, я сразу увидела Федора Михайловича. Он стоял у двери в следующую за залой комнату, во фраке (слишком широком), и слушал с напряженным вниманием высокую стройную девушку, немного склонившуюся к нему, так как он был значительно ниже ее. Он показался мне еще меньше, худее и бледнее, чем прежде. И так захотелось увести его отсюда, от всех этих ликующих людей, которым, думалось мне, не было никакого дела ни до литературы вообще, ни до Достоевского в частности. Но сам Федор Михайлович, очевидно, чувствовал себя вполне хорошо; к нему подходили единомышленники (которых здесь было большинство), жали ему руки; дамы, всегда заискивающие у «знаменитостей», говорили ему любезности, хозяйка не скрывала своей радости, что у нее в салоне сам Достоевский.

Федор Михайлович спокойно, с достоинством слушал,

кланялся, болезненно улыбался и точно все время думал о другом, точно все хвалебные и льстивые речи шли мимо него, а внутри шла какая-то своя большая работа. <…>

В последний раз я видела Достоевского в гробу. И это был опять другой Достоевский. Ничего от живого человека: желтая кожа на костяном лице, едва намеченные губы и полный покой. Страстность его недавней полемики по поводу речи на Пушкинском празднике, пафос его верований и упований — и совершенно необычайный дар жечь сердца людей — были плотно закрыты костяной маской…

Похороны Достоевского описаны сотни раз. Они, конечно, были тоже «событием». Но кроме того, они были и символичны. Поклониться ему и проститься с ним пришли люди самых разнообразных направлений, самых непримиримых взглядов: старые, молодые, писатели, генералы, художники и просто какие-то люди, униженные и оскорбленные, люди «с чердаков и из подвалов», а главное, молодежь, всегда, в конце концов, чующая правду… Она — эта молодежь — окружала гроб надежной цепью сильных рук и не допустила полицию «охранять порядок».

Непосредственно за гробом шли: А. Н. Плещеев, бывший когда-то вместе с Федором Михайловичем приговоренным к смертной казни; генерал Черняев, сербский герой, друг Достоевского по Славянскому обществу, много художников и, конечно, вся литература.

Затем шли депутации с венками (больше семидесяти) и хоры, без перерыва певшие «Вечную память»…

А затем — толпа, многотысячная толпа, молчаливая, благоговейная…

Одну минуту на Владимирской площади произошел какой-то переполох. Прискакали жандармы, кого-то окружили, что-то отобрали. Молодежь сейчас же потушила этот шум и безмолвно отдала арестантские кандалы, которые хотела нести за Достоевским и тем отдать ему долг как пострадавшему за политические убеждения.

Все хоронили Достоевского как «своего».

— Великого художника хороним! — сказал, подходя к нашей группе (или, вернее, к группе К. Е. Маковского), Ив. Ив. Шишкин.

— И великого патриота… — добавил кто-то.

Ни о какой розни, так громко заявлявшей себя все последнее перед смертью Федора Михайловича время, конечно, не было и помину. Шли с полным сознанием утраты большого человека, гениального писателя, который мог бы дать человечеству еще много, много художественных радостей.

Возвращались мы с кладбища уже под вечер. Надгробные

речи еще звучали в ушах; на Невском шла своя жизнь, шумная жизнь сегодняшнего дня, кажущаяся со стороны такой праздничной и веселой.

Было как-то смутно на душе. Когда были подведены итоги всему ненужно-жестокому, что вынес этот человек, только что зарытый в мерзлую землю, когда вспомнили, сколько моральных и физических мук выпало на долю ему, такому хрупкому, чуткому, слабому и… великому, стало мучительно стыдно.

Это же чувство мучительного стыда испытала я, когда Ал. Ник. Плещеев на первом же литературном собрании в память Ф. М. Достоевского сказал:

— Я не знал несчастнее этого человека… Больной, слабый и оттого во сто раз тяжелее всех переносивший каторгу… Вечно нуждавшийся в деньгах и как-то особенно остро воспринимавший нужду… А главное — вечно страдавший от критики… Вы и представить себе не можете, как он болезненно переживал каждую недружелюбную строку… И как он страдал! Как он страдал от этого не год, не два, а десятилетия… И до последнего дня… В этом — страшная драма его жизни.

Но история — судья справедливый. К пятидесятилетию со дня смерти Ф. М. Достоевского его имя не только не предано почтительному забвению, как большинство когда-то дорогих и славных имен, но (как, может быть, одно только имя Пушкина) становится чем старше, тем ближе и дороже. Оно прошло через негодующую критику 60-х годов, через резкие общественно-политические счеты 70-х, через почтительное молчание 80-х, через множество литературных наслоений (декадентство, символизм, индивидуализм и пр.), через бурю и грозу, потрясшую мир, — и горит все ярче и ярче.

1932[{2}]

comments

Комментарии

1

Е. П. Леткова-Султанова (1856–1937) — писательница, переводчица, общественная деятельница конца XIX — начала XX века. В 1881 году в «Русской мысли» была напечатана ее первая оригинальная повесть «Ржавчина». Потом рассказы ее появляются один за другим на страницах «Отечественных записок», «Северного вестника», «Русской мысли», «Русского богатства», «Мира божия».

Основная тема творчества Летковой — изображение душевного состояния интеллигенции в эпоху «бездорожья».

Е. П. Леткова была последовательницей революционного крыла народничества, близкой к кругу Н. К. Михайловского и Глеба Успенского. После Великой Октябрьской революции она — сотрудник Дома литераторов, Госиздата и издательства «Всемирная литература». Ей принадлежат многочисленные переводы с французского, итальянского и других языков. Была она знакома и состояла в дружеской переписке с Гл. Успенским, Н. К. Михайловским, Л. Андреевым, П. Д. Боборыкиным, Ф. Д. Батюшковым, А. Блоком, С. А. Венгеровым, М. Г. Савиной, К. С. Станиславским, А. А. Шахматовым, А. И. Южиным; оставила богатые наблюдениями не только лично биографического характера, но и общественно-литературного значения воспоминания об И. С. Тургеневе, А. П. Философовой, Гл. Успенском, Ф. М. Достоевском, П. Ф. Якубовиче-Мелыдине и др.

Набрасывая воспоминания о Достоевском, Леткова переносится в те времена, когда она была двадцатичетырехлетней девушкой, курсисткой московских Высших женских курсов Герье: в ее воспоминаниях отражены настроения передовой студенческой молодежи той поры. Свято чтя традиции шестидесятников, молодежь эта, в дни открытия памятника Пушкину, сопоставляя Тургенева с Достоевским, отдает свои симпатии Тургеневу.

Воспроизводя в своих мемуарах споры вокруг имени Достоевского в среде революционно настроенной народнической молодежи, Леткова проверяет их критерием времени. В творческом отношении она испытывала некоторое тяготение к тематике и образной системе Достоевского. Это отмечал еще в 1899 году в своей рецензии на первые произведения Летковой Н. К. Михайловский («Русское богатство», 1899, N 8, 11). В архиве Летковой среди черновых бумаг сохранились наброски проспекта пьесы по мотивам повести Достоевского «Маленький герой» (ИРЛИ, архив Е. П. Летковой-Султановой, ф. 230, N 52).

В книге, которую она задумала под названием «Дорогие тени (русский писатель, народ и свобода)», Достоевский занимал место после Некрасова, перед Л. Толстым. В сохранившемся плане очерка о Достоевском Леткова акцентирует внимание на том, что вынес этот русский писатель за свое стремление дать счастье родине, подчеркивая, что «ничто не могло сломить его могучее дарование; никто не мог убить его веры в родину и народ». Этот вывод перекликается с заключительными словами воспоминаний, — о суде истории, который определил в творчестве Достоевского временное и преходящее и то, что, пройдя «через бурю и грозу, потрясшую мир, — <…> горит все ярче и ярче».

2

Печатается по изданию: «Звенья», т. 1, М.-Л. 1932, стр. 459–477.

notes

Примечания

1

Стр. 380. «Пятницы» у Я. П. Полонского вели начало еще от дружеских собраний по пятницам в начале 40-х годов на квартире молодого поэта, бывшего тогда студентом Московского университета. После некоторого перерыва (пятилетнее пребывание в Грузии и поездка за границу) они возобновились с возвращением Полонского в Петербург в 1858 году и продолжались вплоть до самой смерти поэта (1898). Наряду с изредка появлявшимися представителями высшей бюрократии — Победоносцевым и Витте — посетителями «пятниц» Полонского были Тургенев, Достоевский, Григорович, Потехин, Плещеев, Антон Рубинштейн, Горбунов, Савина, Айвазовский, Верещагин, Репин и др. О «пятницах» Полонского 1879 года см. воспоминания Д. Н. Садовникова «Встречи с И. С. Тургеневым» («Русское прошлое», 1923, N 1).

2

Стр. 381. В тексте ошибочно: 1846 года.

Плещеевым. (Прим. Е. П. Летковой-Султановой.)

4

Стр. 383. Петрашевец Н. П. Григорьев.

5

Стр. 383. С воспоминаниями Е. П. Летковой об услышанном ею на одной из «пятниц» у Полонского в 1879 году рассказе Достоевского совпадает в общих чертах и описание, по-видимому, этой же пятницы в «Листках из записной книжки Ободовского» (ИВ, 1893, N 12, стр. 773–777).

6

Когда я записала этот вечер у Полонских и, всегда боясь «достоверных свидетельств», прочла Якову Петровичу, чтобы проверить, так ли передала я слова Достоевского, Яков Петрович добавил, что последняя фраза Федора Михайловича: «Прошло ли?» — намекает на его болезнь (падучая), развившуюся на каторге, но зародившуюся, как он предполагал, на эшафоте… (Прим. Е. П. Летковой-Султановой.)

7

Стр. 385. Речь идет о картине В. В. Верещагина «Скобелев под Шипкой» (1878–1879).

8

Стр. 386. Имеется в виду русско-турецкая война 1877–1878 годов.

9

Стр. 386. См. прим. 11 к стр. 388.

10

Стр. 387. Разные по темпераменту, по эстетическим и общественным воззрениям, Достоевский и Гончаров почти никогда не сталкивались ни в жизни, ни в литературе. Достоевский уважал Гончарова как художника и в то же время относился с оттенком презрения к его бесстрастию: «с душою чиновника, без идей, и с глазами вареной рыбы, которого бог, будто насмех, одарил блестящим талантом» (письмо к А. Е. Врангелю от 9 ноября 1856 г. — Письма, I, 199; приблизительно тот же отзыв и в письме к Страхову от 26 февраля 1869 г. — Письма, II, 170). В начале 1874 года, когда Гончаров был членом редакционного комитета сборника «Складчина», в котором печатались «Маленькие картинки», они обменялись несколькими письмами (см. «Письма русских писателей», под ред. Н. К. Пиксанова, Госиздат, М.-Пгр. 1923, стр. 10–24, и Письма, 111,94).

11

Стр. 387. Об отношении Достоевского к «еврейскому вопросу» см. «Дневник писателя» за 1877 год, март (Достоевский, 1926–1930, XII, 76–95), а также письмо Достоевского к А. Г. Ковнеру от 14 февраля 1877 года (Письма, III, 255–258).

12

Стр. 387. Неточная цитата из «Дневника писателя» за 1876 год (Достоевский, 1926–1930, XI, 328).

13

Стр. 388. Сербско-черногорско-турецкая война 1876 года и русско-турецкая война 1877–1878 годов приковали внимание русской общественности к так называемому восточному, или славянскому, вопросу. Прикрываясь лозунгом «защиты братьев славян», русское правительство приняло решение об участии в этих войнах, руководствуясь своими политическими целями — укрепить свое влияние на Балканах, подорванное в результате Крымской войны, и тем самым поднять свой международный престиж, а также разрядить напряженную политическую обстановку внутри страны.

Достоевский «восточный вопрос» решал в духе развиваемых им «почвеннических» идей, рассматривая участие России в балканских войнах как начало осуществления исторической миссии русского народа, которому предстоит объединить все человечество — и в первую очередь славянские народы — на началах любви и братства (см. «Дневник писателя» за 1876 год, июнь — Достоевский, 1926–1930, XI, 316–333). Эти надежды были утопическими и в политическом отношении сближали Достоевского с панславистами, выдвигавшими идею объединения славянских стран под главенством царской России. В противоположность панславистам, революционные демократы разоблачали политику русского самодержавия и выдвигали идею демократической солидарности славянских народов.

14

Стр. 388. Имеется в виду статья Д. И. Писарева «Пушкин и Белинский».

15

Стр. 389. На памятнике был высечен текст, переделанный В. А. Жуковским для посмертного издания сочинений Пушкина 1841 года.

16

Стр. 390. Текст речи Ключевского опубликован в сб. Венок, 27–28.

17

Стр. 390. Имеется в виду стихотворение Пушкина«…Вновь я посетил…».

18

Стр. 391. Отрывок из стихотворения Пушкина «Туча».

19

Стр. 391. Елена Стахова — героиня романа Тургенева «Накануне».

20

Стр. 392. Славянское благотворительное общество образовалось в 1877 году в связи с началом русско-турецкой войны из Петербургского славянского благотворительного комитета для оказания материальной помощи балканским славянам и обеспечения добровольцев, отправляющихся на театр русско-турецкой войны.

21

Стр. 392. Под «патриотическими статьями» подразумеваются статьи Достоевского о «восточном вопросе» в «Дневнике писателя» за 1876 и 1877 годы: «Восточный вопрос», «Утопическое понимание истории», «Еще раз о том, что Константинополь рано ли, поздно ли, а должен быть наш» и др.

22

Стр. 393. Е. П. Леткова неясно выражает свою мысль. Вероятно, она имела в виду то же, что и К. Кавелин, который писал в своем открытом «Письме Ф. М. Достоевскому» (ВЕ, 1880, N 11): «Достоевский расходится со сторонниками идеи изменения общественного устройства в ответе на вопрос: „Что должно быть поставлено на первый план: личное ли нравственное совершенствование или выработка и совершенствование тех условий, посреди которых человек живет в обществе?..“

23

Стр. 393. В „Московских ведомостях“ от 9 декабря 1879 года (N 313) за подписью „Иногородний обыватель“ появилась заметка „С берегов Невы, XIII“. В этой заметке один из самых ярых реакционных сотрудников газеты Б. М. Маркевич обрушился на Тургенева в связи с его сочувственным предисловием к автобиографическим запискам русского эмигранта И. Я. Павловского, которые были опубликованы во французской газете „Le Temps“ под заглавием: „В одиночке. Впечатления нигилиста“. Современники восприняли эту заметку Маркевича как явный донос, в котором были и намеки на забытую уже историю привлечения Тургенева в 1863–1864 годах к следствию по „Делу о лицах, обвиняемых в сношении с лондонскими пропагандистами“, в частности с М. А. Бакуниным (см. об этом подробнее „Звенья“, т. 1, М.-Л. 1935, стр. 282–283, 296).

24

Стр. 394. Статья Н. К. Михайловского „Жестокий талант“, опубликованная в ноябрьском номере „Отечественных записок“ за 1882 год.

25

Стр. 395. Такого высказывания ни в „Дневнике“, ни в письмах Достоевского не содержится.

26

Стр. 395. Прототипом Степана Трофимовича Верховенского в „Бесах“ был, как известно, Грановский, а прототипом Кармазинова — Тургенев (подробнее см. А. С. Долинин, Тургенев в „Бесах“ — Достоевский, II, 119–136).